

MENSUEL  
250 fr.

CAHIERS PERIODIQUES  
(84<sup>e</sup> cahier, Décembre 1958)

# ВОЗРОЖДЕНИЕ

« LA RENAISSANCE »

Литературно-политическія  
тетради

ТЕТРАДЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ  
Декабрь 1958 года



Антон Павлович Чехов.

PARIS

73, av. des Champs-Élysées, (VIII)  
Tél.: ELYsées 06-03



## Асфодели и ромашка

### УЛЫБКА ЧЕХОВА

Бывают “возвратныя сновидѣнія”. Так, видя во снѣ живыми, здоровыми тѣх, кого любил и кто умер, каждый раз думаешь с радостью: “Ну, слава Богу, значит, не...” Но мысль обрывается, не может вспомнить о смерти, — только сквозь радость чувствуешь непоправимое.

Нѣчто подобное испытывал я, читая “Письма из Сибири” А. П. Чехова в “Новом Словѣ” (Москва, 1907 года). — Жив, здоров, ну, слава Богу!.. И опомнившись, точно проснувшись, я чувствовал вновь, как тогда, в первую минуту, горестное удивленіе смерти.

— Послушайте, голубчик, женитесь-ка на нормальной женщинѣ, — слышу, как сейчас, хриповатый семинарскій басок его, вижу чуть-чуть лукавую, как будто застѣнчивую улыбку, с которой он говорил это при мнѣ одному общему пріятелю.

Я был молод; мнѣ все хотѣлось поскорѣе разрѣшить вопросы о смыслѣ бытія, о Богѣ, о вѣчности. И я предлагал их Чехову, как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки.

Говорю ему, бывало, о “слезинкѣ замученнаго ребенка”, которой нельзя простить, а он вдруг обернется ко мнѣ, посмотрит на меня своими ясными, не насмѣшливыми, но немного холодными, “докторскими” глазами и промолвит:

— А, кстати, голубчик, что я вам хотѣл сказать: как бу-



А. П. Чехов  
Фотографія 1892 г.



дете в Москвѣ, ступайте-ка к Тѣстову, закажите селянку — превосходно готовят, — да не забудьте, что к ней большая водка нужна.

Мнѣ было досадно, почти обидно: я ему о вѣчности, а он мнѣ о селянкѣ. Раздражало это равнодушіе, даже как будто презрѣніе к міровым вопросам; я начинал подозревать Чехова в “отсутствіи общих идей”.

Надо было наговорить столько лишняго, сколько мы наговорили, надо было столько нагрѣшить, сколько мы нагрѣшили, святыми словами, чтобы понять, как он был прав, когда молчал о святом. Зато его слова донынѣ — как чистая вода лѣсных озер, а наши, увы, слишком часто похожи на трактирные зеркала, засиженные мухами, исцарапанные надписями.

И как я сейчас благодарен ему за то, что нѣтъ у него в Письмах никаких метафизических вопросов, ни “тайны”, ни “дѣтства”, ни “жертвы”, ни “мистеріи”, ни “миѳотворчества”! Из этого всего уходишь к нему, как из международного вагона-ресторана, гдѣ надышали, наѣли, напили, накурили, наговорили, — главное, наговорили так, что хоть топор вѣшай в воздухъ, — прямо в лѣтнюю русскую ночь, когда зеленая заря не хочет погаснуть, коростели скрипят, и пахнет болотцем, елками, березовым вѣником, дышешь — не надышешься, слушаешь — не наслушаешься. Какая радость, какая святость молчать о святом.

Ни умных слов, ни “общих идей” — только тихая усмѣшка, которая отражается на всѣх уродствах жизни, как эта зеленая заря на грязных лужах в колеях дороги. Тут только начинаешь понимать, до чего отвыкли мы смѣяться или, хуже того, — улыбаться.

Жаль приводить выдержки: нельзя по ним судить о цѣлом, как по оторванным лепесткам — о благоуханіи цвѣтка.

Есть в этих Письмах, как в Дон-Кихотѣ или в Панѣ Тадеушѣ, черточки, которыя, увидѣвъ раз, уже никогда не забудешь, — так полны онѣ безсмертною веселостью. Никогда я не забуду узких сапогов Чехова:

“Представьте себѣ мое положеніе. То и дѣло, вылѣзаю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапоги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мороз! Пришлось купить валенки. Так и ѣхал в валенках, пока они у меня не раскисли от грязи”, не “обратились в студень”.

Или это сравненіе, которое никто в мірѣ не сдѣлал бы, кромѣ Чехова:

“Очень красивы буксирные пароходы, тащашіе за собою по 4-5 барж; похоже на то, как будто молодой изящный интеллигент хочет бѣжать, а его за фалды держат жена-кувалда, теща, свояченица и бабушка жены”.

Или описаніе Иртыша, восемь строк, за которыя можно отдать всѣ новѣйшія “стилизаціи” природы в стихах и в прозѣ:



“Мутная вода с бѣлыми гребнями хлещет и со злобой отскакивает назад, точно ей гадко прикасаться к неуклюжему, осклизлому берегу, на котором, как кажется, могут жить одни только жабы да души убійц... Иртыш не шумит, не ревет, а сдается, как будто он у себя на днѣ стучит по гробам...”

И рядом с этими черточками — исполинскія картины, в которых, как в портретѣ, узнаешь лицо Россіи

“Берега голые, деревья голыя, земля бурая, тянутся полосы снѣга, а вѣтер такой, что сам чорт не сумѣет дуть так рѣзко и противно. Когда дует холодный вѣтер и рябит воду, имѣющую теперь, послѣ половодья, цвѣт кофейных помоев, то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящія неподвижно на встрѣчных баржах, представляются застывшими от горя, которому нѣтъ конца. Города сѣры; кажется, в них жители занимаются приготовленіем облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи — единственное занятіе. На пристанях толпится интеллигенція... с выраженіем “второй скрипки” во всей фигурѣ; повидимому, ни один из них не получает больше 25 рублей, и, вѣроятно, всѣ лечатся от чего-нибудь. — В Россіи всѣ города одинаковы”.

Такова Россія Чехова, а вот Россія Вяч. Иванова:

“Страна покроется оркестрами и ѳимелами для народных сборищ, гдѣ будет пѣть хоровод, — гдѣ в дѣйствиіи трагедіи или комедіи, диѳирамба или мистеріи воскреснет свободное миѳотворчество, гдѣ самая свобода найдет очаги своего полного самоутвержденія”.

“Сдѣлал открытіе, — пишет Чехов, — которое меня поразило и которое в дождь и сырость не имѣет себѣ цѣны: на почтовых станціях в сѣнях имѣются отхожія мѣста. О, вы не можете оцѣнить этого!”

Кому же вѣрить: Чехову или Вяч. Иванову? Чего желать Россіи — “ѳимел, оркестр — очагов свободы”, или отхожих мѣст? Мы еще не рѣшили, колеблемся, идти ли на Восток, во имя реакціи, требующей карательных экспедицій, или на Запад, во имя прогресса, требущаго ватерклозетов, а тут вдруг — “ѳимелы и оркестры”. Ах, шутники, шутники! С луны свалились, что ли? В Россіи ли жили, знают ли, что такое Россія? А если знают и все-таки вѣрят в то, что говорят, то, видно, знать не хотят — нѣтъ им до нея никакого дѣла: погибай Россія, только бы воскресить миѳ!

Русь, что выше и что ярче?..  
Гдѣ сіяет солнце жарче,  
Гдѣ сіять ему милѣй? —

вопрошает Городецкій. — “Вообще дождь, грязь, холод... бррр!” — жалуется Чехов. И через нѣсколько страниц опять: “дождь, вѣтер... спаси, Царица Небесная!” И еще: “плыву через рѣку, а дождь хлещет, вѣтер дует, багаж мокнет, валенки обращаются в студень...” И вот, однако, подите же —



Гдѣ сіяет солнце жарче,  
Гдѣ сіять ему милѣй?

Если это не злая шутка, если Городецкій что-то, действительно, любит, то уж, во всяком случаѣ, не живуя Россію, а какую-то свою мертвую, каменную, археологическую "Барыбу", которой приносит не столько кровавыя, сколько чернильныя жертвы. Но я не хочу "Барыбы", пусть уж лучше Россія — "Лизавета Смердящая", только бы не эта чортова баба!

И Бальмонт любит Россію, как небывалую Жар-Птицу. И он "стилизует" русскія пѣсни; но почему же в устах его онѣ похожи на "перевод с французскаго"?

Я из града Вѣтрограда,  
Называюсь "Вѣй".  
Я из града Цвѣтограда,  
Я "Огонь очей".

И далѣе:

Я по граду Вѣтрограду...  
Я по граду Цвѣтограду...  
Я во градѣ Вѣтроградѣ...  
Я во градѣ Цвѣтоградѣ...

Что это, деревянная трещотка или жестяной вентилятор?

И Александр Блок, рыцарь "Прекрасной Дамы", как будто выскочившій прямо из готическаго окна с разноцвѣтными стеклами, устремляется в "некультурную Русь"... к "исчадію Волги", хотя насчет Блока уж слишком ясно, что он, по выраженію одного современнаго писателя о неудавшемся любовном покушеніи, "не хочет и не может".

"Вчера один китаец, — рассказывает Чехов, — сидѣлъ на палубѣ и пѣлъ дискантом что-то очень грустное. Всѣ глядѣли на него и смѣялись, а он — ноль вниманія". А другой, Сон-Люли, "запѣлъ по нотам, которыя написаны у него на вѣерѣ". Русскіе миѳотворцы напоминают этих поющих китайцев: Сон-Люли поет "по вѣеру", а мы ничего не понимаем.

В чем же дѣло? Почему именно тут, в любви к Россіи, между Чеховым и нынѣшними — такая пропасть? Отчего, когда они любят Россію, то кажется, что уж лучше бы не любили?\*)

А дѣло вот в чем:

"Ах, никогда-то я не чувствовал любви к Россіи и, вѣрно, так и не пойму, что такое любовь к родинѣ, которая будто бы присуща всякому человѣческому сердцу. Я хорошо знаю, что можно любить тот или иной уклад жизни... Но при чем тут родина? Если русская революція волнует меня все-таки бо-

\*) Эта статья С. Мережковскаго написана болѣе 50 лѣтъ назад. Но насколько точно и справедливо опредѣленіе этих «лѣвых радѣтелей за Россію», — «лучше бы уже не любили»!



лѣе, чѣм персидская, я могу только сожалѣть об этом. И, востину, благословенно каждое мгновѣніе, когда мы чувствуем себя гражданами вселенной".

Это говорит Бунин ("Тѣнь птицы" в сборникѣ "Земля", 1908 г.), очень талантливый писатель; — да нынче всѣ талантливы, кажется, скоро, чтобы не быть, как всѣ, надо будет не имѣть таланта.

— "Я всю Россію ненавижу, Марья Кондратьевна", признается Смердяков.

— "Вы точно иностранец, точно самый благородный иностранец!" умиляется Марья Кондратьевна.

За нынѣшних "граждан вселенной" иногда страшно, как бы не оказались они "самыми благородными иностранцами".

"Ну-с, ѣдешь, ѣдешь... Мелькают верстовые столбы, лужи, березнячки... Вот перегнали переселенцев, потом этап... Встрѣтили бродяг с котелками на спинах; эти господа безпрепятственно прогуливаются по всему сибирскому тракту. То старушонку зарѣжут, чтобы взять ея юбку на портянки, то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами — згодится, то проломают голову встрѣчному нищему или выбьют глаз своему же брату-ссылному". — "Русскій человек — большая свинья!" И Чехов приводит обильные примѣры этого свинства. Вот застѣдатель — "густая смѣсь Ноздрева, Хлестакова и собаки. Пьяница, развратник, лгун, пѣвец, анекдотист, и, при всем том, добрый человек". Вот писарь — "зараженный до мозга костей всѣми болѣзнями и спивающійся, по милости своего принципала", и, вмѣстѣ с тѣм, "прекрасный, интеллигентный человек, протестующій либерал". — А заключеніе: "Боже мой, как богата Россія хорошими людьми!" Он вѣрит в нее, потому что любит ее, вѣрит в то, что будет, потому что любит то, что есть.

Того, что есть, не любят мнѣотворцы и творят из Россіи



А. П. Чехов

Портрет работы В. А. Сѣрова (1902 г.)



мие, Барыбу, Жар-Птицу, стилизуют, украшают, дѣлают ее "бѣленькой"; но полюби нас черненькими, а бѣленькими нас всякій полюбит. Чехов полюбил нас "черненькими".

В послѣдней книжкѣ "Вѣсов", журнала Брюсова, г. Эллис объявляет его "гигантом", "творцом титанических обликов" и, как будто этого мало, открывает в нем "тройственное сліяніе Демона мысли, Генія страсти и Ангела печали".

А Чехов однажды, посмотрѣвъ на себя в зеркало послѣ дороги, воскликнул: "Какой я грязный! Какое у меня ёрническое рыло!"

Я готов, пожалуй, вѣрить, что не за страх, а за совѣсть "вѣрный личарда" Брюсова, г. Эллис, на животѣ перед ним ползает. А все-таки "самому благородному, иностранному" лицу "Генія, Демона и Ангела" я предпочитаю родное "ёрническое рыло" Чехова. Я вѣдь знаю, что если всѣ мы с Россіей погибать будем, то Чехов нас не выдаст, а Брюсов — не знаю, по крайней мѣрѣ, насколько можно судить по отзыву г. Эллиса: не муравьиная ли кочка для такого "гиганта" Россія?

Вѣдь, вот в той же Россіи, в которой Чехов увидѣлъ столько "хороших людей" Федор Сологуб ничего не увидѣлъ, кромѣ "ёрническаго рыла" Передонова, воплощенной Недотыкомки и, отвернувшись с брезгливостью, начал служить "Литургію себѣ". Ну, куда же нам, "черненьким", до таких "бѣленьких"? Погибнем ли мы или спасемся, им до нас, повторяю, никакого дѣла нѣтъ, а пожалуй, и нам до них: Бог милостив, обойдемся как-нибудь собственными средствами.

Это эмпирическое "непріятіе" Россіи вытекает из болѣе глубокаго, метафизическаго "непріятія міра", отрицаніе родины — из отрицанія "рождества".

— "Я против рождества бунтую... Я бы дозволил убить себя еще во чревѣ с тѣм, чтобы лишь на свѣт не происходить вовсе-с", говорит Смердяков.

"Бунт против рождества своего" и есть то "непріятіе міра", мистическій анархизм, который сдѣлался, — пусть только на миг, но все-таки, нечего себя обманывать, сдѣлался душою всей новѣйшей русской литературы от Кузьминских "Крыльев" (нынче всякій горбун готов принять свой горб за "крылья") до Андреевскаго революціонера, который бросает свою "прелестную жизнь" к ногам проститутки.

Если я служу "литургію себѣ", значит, я — Бог; а если я — Бог, значит прежній мнимый Бог — Дьявол, и утверждать себя, как Бога, значит, отрицать весь мір, как созданіе дьявола, — весь мір, в том числѣ и "рождество" свое, и родину свою.

И обратно, у Чехова "пріятіе" Россіи вытекает из пріятія міра, благословеніе родины — из благословенія "рождества".

"Великолѣпная мамаша, превосходная Маша, сладкій Миша и всѣ присные мои!" — начинается он одно из писем. И всѣ они, как настоящія мужицкія посланія, кончаются длинным перечнем поклонов: "Поклон папашѣ, Ивану, теткѣ, Алешѣ,



Александръ Васильевнѣ, Зинаидѣ Михайловнѣ, доктору, Прошѣ, великому піанисту, Марьюшкѣ". — "Передайте Дюковскому мое сожалѣніе, что не удалось видѣться... Он хорошій человекъ..." "Славной Жамѣ привѣтъ от души. Она очень хорошая..." И когда весь перечень кончен, вдруг вспоминаетъ каких-то Кувшинниковыхъ: "поклон Кувшинниковымъ!" Зачѣмъ их обижать? И они "хорошіе". — "Боже мой, как богата Россія хорошими людьми!"

Из-за тысячей верст, откуда-то из-под Томска, спрашиваетъ: "Поспѣла редиска? А тут ея еще нѣтъ". И замѣчаетъ съ грустною нѣжностью; "березка здѣсь темнѣе, чѣмъ в Россіи, зелень ея не так сентиментальна". "Тополей нѣтъ. Кувшинниковскій генералъ соврал. Соловьевъ нѣтъ. Сороки и кукушки есть".

И папу, и маму, и тетушек, и бабушек, и сентиментальную зелень березы, и родимую кукушку, и старую Марьюшку — все любит, все благословляетъ.

"Да хранитъ вас Бог... Всѣхъ обнимаю, благословляю. Со-скучился".

Кажется, и оттуда, из вѣчности, обнимаетъ и благословляетъ онъ всѣхъ нас, всю Россію, всю бѣдную, темную, милую, грѣшную и святую землю

Во имя чего благословилъ, сам не знаетъ; но именно здѣсь его главнѣйшее отличіе отъ нынѣшнихъ: онъ благословилъ, они проклинали.

Быть может, все в жизни лишь средство  
Для ярко пѣвучихъ стиховъ,  
И ты с безпечальнаго дѣтства  
Ищи сочетанія словъ.

Думая такъ, Брюсовъ можетъ, конечно, сохранить "безпечальное дѣтство" до самаго преклоннаго возраста. Но хорошо ему, поэту; а намъ-то, простымъ смертнымъ, какъ быть? Вѣдь мы живемъ только разъ; неужели отказаться намъ отъ этой единственной жизни, для того, чтобы Брюсовъ нашелъ искомое "сочетаніе словъ"? Еще отвратительнѣе, пожалуй, быть мясомъ литературнымъ, чѣмъ пушечнымъ. Брюсовъ этого хочетъ, да мы-то не хотимъ. И пока живы, сдѣлаемъ все, что зависитъ отъ насъ, чтобы этого не было; в крайнемъ случаѣ, чтобы спасти жизнь, к чорту отправимъ такую "поэзію", которая вовсе и не поэзія, а возмутительное кощунство надъ святынею жизни и поэзіи.

Брюсовъ истинный поэтъ. Но если онъ рѣшитъ окончательно, что

Все в жизни лишь средство  
Для ярко пѣвучихъ стиховъ, —

то не только жизнь, но и поэзія Брюсова кончена. Не предо-стерегаетъ ли его участь Бальмонта:



Гдѣ я? Что я? Запою  
Все по новому о старом,  
Все бы дальше, все бы к чарам,  
Вѣю, рѣю, вѣю, вью.

Чтобы удовольствоваться такою участью, надо быть не человеком, а птицею, имѣть не душу, а пар. Брюсов достоин лучшаго.

Что выше: искусство или жизнь, написать поэму или накормить голоднаго? В этом вопросѣ мало любви к искусству и к жизни: кто совершенно неспособен отказаться от поэмы, чтобы накормить голоднаго, тот никогда не напишет прекрасной поэмы. Если нѣтъ в жизни такой святыни, ради которой стоило бы пожертвовать искусством, то оно само немногаго стоит.

Вся новѣйшая русская литература "вѣет, рѣет, вѣет, вьет" в пустотѣ, и, не имѣя религіи и жизни, хочет сдѣлать искусство религіей. Но, подобно всякому "отвлеченному началу", искусство, становясь религіей, становится мертвым богом, идолом. Чехов — послѣдній из русских писателей, не поклонившійся мертвому Богу. Пусть еще не знал он имени Бога — живого — он уже предчувствовал Его. И, дѣлая не искусство, а жизнь религіей, шел к истинѣ, к тому, чтобы сдѣлать религію жизнью. Не потому ли, в этих посмертных письмах своих, он среди нас — не как мертвый среди живых, а как живой среди мертвых?

Кажется иногда, что вся новѣйшая русская литература есть продолженіе своего великаго прошлаго лишь в том смыслѣ, как загробный мір есть продолженіе міра живых. Талантов множество, но всѣ они какіе-то призрачные. Словно царство тѣней, поля Елисейскія. И вот на этих полях, среди цвѣтов смерти, пышных пыльных асфоделей, "Письма" Чехова — как смиренный полевой василек или ромашка. Жалобныя тѣни слетаются и, глядя на живой цвѣток, вспоминают, плачут.

Пусть плачут: может быть, подобно Евридикѣ, вслѣд за новым Орфеем найдут онѣ обратный путь — от мертвых к живым.

Д. Мережковскій.

